



Эвристика и философия



УДК 821.161.1.09

Икитян Людмила Нодариевна

Кандидат филологических наук,
главный редактор журнала «Гуманитарная парадигма»;
Российская Федерация, Армянск, e-mail:gp_glavred@mail.ru

ИСТОРИЯ ПРЕХУДОЖЕСТВЕННОГО БЫТОВАНИЯ ОБРАЗА НАВУХОДОНОСОРА (ПО МАТЕРИАЛАМ ПИСЕМ Л. Н. АНДРЕЕВА)

На материале ряда писем Андреева реконструированы составляющие художественного образа Навуходоносора, героя неоконченного рассказа Л. Андреева «Из глубины веков» (1904). Выявлены формы их предхудожественного психо-ментального бытования, проанализированы в перспективе дальнейшего их творческого преобразования в образ свободного царя и особую цель его временного безумия-провокации.

Ключевые слова: Леонид Андреев, эго-документ, «Из глубины веков», образ царя Навуходоносора, временное безумие, рок, провокация.

Lyudmila N. Ikityan

PhD in Philological sciences, chief editor
of the magazine «Humanitarian paradigm»;
Russian Federation, Crimea, Armyansk

HISTORY PRE-LITERARY EXISTENCE OF THE IMAGE OF NEBUCHADNEZZAR (BY THE MATERIAL OF LETTERS BY L. ANDREEV)

Abstract. *On the material a series of letters to Andreev reconstructed components of the artistic image of Nebuchadnezzar, the hero of an unfinished story by L. Andreev “From time immemorial” (1904). The revealed form of their pre-literary psychological and mental existence, is analyzed in the future to further their creative transformation into the free king image and special purpose of his temporary insanity-provocation.*

Key words: Leonid Andreev, ego-document, “From time immemorial”, the image of king Nebuchadnezzar's, the temporary madness, the rock, the provocation.

Для цитирования:

Икитян, Л. Н. История предхудожественного бытования образа Навуходоносора (по материалам писем Л. Н. Андреева) // Гуманитарная парадигма. 2019. № 3 (10). С. 66–89.

«Вчера был царь и были рабы, сегодня — нет царя,
но остались рабы, завтра будут только цари.
Мы идём во имя завтрашнего свободного человека — царя».
Е. Замятин «Завтра»

Обоснование феномена Леонида Андреева полагает в качестве ведущего исследовательского принципа системное изучение наследия писателя. Безусловная коррелятивность андреевских произведений делает необходимым рассмотрение всей «цепочки» творческого процесса, установление широкого поля авторского контекста, в том числе и выходящего за рамки сугубо художественных форм. В этом отношении интерес представляют так называемые эго-документы — дневники, эпистолярный, мемуары и пр. — но не просто как источники фактической информации о художнике, а как свидетельства его духовных волений и мысленных установок. Такой материал исключителен, так как именно в нём находит отражение момент обретения художником идеи, образа, формы, лишь позднее вызревающих в его творческом сознании и получающих литературно-художественное оформление.

В истории научного осмысления личности Андреева дневники и письма писателя представляют источники особого рода. Это психохроники (М. В. Козьменко), в которых «полусознательно аккумулировались креативные потенции» Андреева [1, с. 31] в тесном сопряжении с его «собственно литературными опытами» [Там же]. Изучение эго-документов позволяет «уловить» в житейско-будничных формах сопутствующее им психо-ментальное пространство как среду предхудожественного бытования идеи-образа. Тем знаковее становится обретение ранее неизвестных материалов подобного рода. Недавно введённое в научный оборот ранее письмо Андреева к Горькому [8]¹ — пример такого свидетельства. Его обнаружение помимо важности, отмеченной публикаторами Р. Дэвисом и М. В. Козьменко, на наш взгляд, даёт сведения, являющие собой первое звено в истории обретения Леонидом Андреевым образа Навуходоносора.

¹ По мнению публикаторов, это второе письмо Андреева к Горькому, на тот момент знакомых заочно. Первое письмо было ответом на горьковское приглашение Андреева посредством сотрудника газеты «Курьер» Н. П. Ашешова к публикации в газете «Нижегородский листок».

Итак, по порядку. Рассказ Андреева «Из глубины веков» (авторская дата — 15 февраля 1904 г.) — единственный полноценный (хотя и до конца не доработанный) вариант художественного воплощения замысла писателя о правителе Древнего Вавилона Навуходоносоре. Рассказ, бывший почти 80 лет в забвении², только сейчас становится достоянием широкой читательско-исследовательской аудитории в связи с его публикацией в очередном томе Полного собрания сочинений и писем Л. Н. Андреева [2]. С этого момента, мы уверены, начнётся история его масштабного изучения, начало которому положено мэтрами андрееведения Л. Н. Афониним [3; 7, с. 55–61] и Л. И. Иезуитовой [3], а в наше время продолжено в диссертационных исследованиях Е. И. Петровой [16], Л. Н. Икитян [9, с. 117–121; см. также 10], И. А. Назарова [14; см. также 15].

История развития замысла о Навуходоносоре и полемика вокруг первой его редакции, развернувшаяся между Андреевым и одним из немногих читателей рассказа Максимом Горьким, известна по переписке писателей, опубликованной в научной серии Литературное наследство [ЛН]³. Но для понимания момента обретения этого образа и динамики его художественного оформления, процесс «постфактумной» рефлексии рассказа оставляем за рамками нашего исследования. При этом интересующий нас период предыстории Навуходоносора отображают два письма Андреева к Горькому 1903 года, написанные с разницей более чем в полгода — от 6 ... 8 января (ЛН, № 79) и от 26 ... 28 сентября (ЛН, № 82)⁴. События и обстоятельства их написания требуют разъяснений, которые мы и представим ниже. Расширить же представление о ментально-ассоциативной подпочве фигуры царя — сверхчеловека, презревшего рабскую натуру «двуногого», — способно, на наш взгляд, то самое (наиболее ранее из обнаруженных на сегодня) письмо Андреева к Горькому (см. выше), датированное серединой декабря 1899 года [8, с. 392–393]. Его связь с означенными письмами 1903 года мы собственно и определяем фактом вычерчивания ещё подсознательной, но считываемой в основных своих контурах фигуры Навуходоносора.

² Рассказ не был включён ни в одно прижизненные и посмертные собрания сочинений Андреева. Вплоть до 1970-х гг. текст учёным был не известен. После передачи рукописи рассказа старшим сыном Леонидом Андреевым в ЦГАЛИ рассказ был опубликован в научном издании «Творчество Леонида Андреева: Исследования и материалы» (Курск, 1983, С. 111–130), но известен был лишь узкому кругу специалистов.

³ Письма и телеграммы 1904 года под №№ 95, 97, 99, 100, 101, 102, 104, 105 [13].

⁴ Письмо Андреева от 6 ... 8 января 1903 г. по тональности напоминает исповедь, поэтому в тексте статьи применительно к нему использовано определение «исповедальное», а послание от 26 ... 28 сентября 1903 г. содержит элементы покаяний — «покаянное» письмо.

Итак, рассказ начала 1904 года «Из глубины веков» явился единственным текстом, обретшим наиболее полное оформление в череде задумок Андреева о царе Вавилона (конец 1902 – начало 1903 гг., позднее в 1909 г., 1914 г.). Поэтому именно он оказывается в центре внимания в исследованиях «вавилонской» темы у Андреева. Одним из существенных периодов её вызревания стал 1903 год — период, когда в творчество писателя активно входит библейская тематика⁵. При этом 1903 год весьма непросто для Андреева — прожит им в состоянии душевного дисбаланса. Несмотря на стяжание молодым писателем неожиданно бурной славы и личное счастье (женитьба, рождение сына-первенца), Андреев к концу 1902 года изрядно вымотан репортёрской подёнщиной, переутомление от которой сказывается на его здоровье [11, с. 121–122]. Но мучительнее физического перенапряжения для писателя выявляется неопределённость его отношений с Горьким [Там же, с. 122–123]. В результате практически весь 1903 год Андреев стремится внести в них ясность. С этой целью в первых числах января этого года им отправлено «длинное и откровенное» [13, с. 173–175] письмо Горькому, весьма раздражившее адресата. Исповедальность «несуразного», в оценке Горького, «письмища» [Там же, с. 176] была истолкована как отсутствие у его автора самоуважения: «Письмо твоё, — сообщил «буревестник» в ответном послании, — прочитал, разорвал и — постараюсь забыть о нём, а тебе рекомендую... — имей побольше уважения к себе и не пиши глупостей, поддаваясь настроениям, унижающим свободолюбивую душу твою» [Там же]⁶.

По глубине высказанных внутренних переживаний январское письмо Андреева, действительно, разительно отличается от иных, и в переписке друзей оно могло быть признано первым такого рода. Если бы не подобное ему по степени открытости и некоторого простодушия письмо Андреева от 14 ... 25 декабря 1899 года, обнародованное в наши дни. Отличает это раннее послание от более позднего отчаянно «исповедального» письма, пожалуй, лишь самоироничная и в чём-то бравирующая нота, естественная для смущённого вниманием к своей персоне начинающего писателя. Но чрезмерная откровенность Андреева с адресатом, знакомство с которым

⁵ «„Царь“ (один из вариантов названия произведений о Навуходоносоре — Л. И) оказывается тесно связанным с замыслами, рождёнными под воздействием желания „дерзко переосмыслить“ евангельские — „Воскрешение Лазаря“, „Иуда“, „Искушение Христа в пустыне“ — и ветхозаветные „Поп“ („Встань и ходи“, „Жизнь Василия Фивейского“), „Счастье“ („Побеждённый дьявол“, „Анатэма“) сюжеты...» [3, с. 101].

⁶ При этом раздражённость Горького вылилась в странный и несколько неэтичный поступок. Письмо Андреева он «не разорвал (как о том извещал адресата), а переслал Пятницкому» с жалобами на друзей, которые «уснащают» его «жизнь сотнями различных пустяков» [Цит. по: 11, с. 123].

в 1899 году не означило даже личной встречей, реально, бросается в глаза своей нестандартностью, что Горький, несомненно, уловил. Однако различил ли он в этом непринуждённую естественность очень простого и добродушного в общении Андреева или принял за чужаковатость нового знакомого — вопрос⁷. Несомненно, чувство признательности Андреева нижегородскому самородку, уже приобретшему некоторое имя в литературе, было велико. И, вероятно, настолько, что удержаться от сокровенных признаний коллеге по цеху, в котором сразу и на долгие годы увидел друга, Андреев не мог⁸.

Горький при всей привязанности впоследствии к Андрееву столь пылко своих чувств никогда не выражал. И на откровения товарища реагировал холодно⁹, а порой и сокрушительно¹⁰. Это укрепляло в Андрееве подозрения, что истинная доверительная дружба между ними невозможна. На январское «исповедальное» письмо Андреева Горький ответил коротко и дерзко: заверил, что обсудить его будет удобнее при личной встрече. Но, даже приглашая друга к беседе в располагающей домашней обстановке, Горький сразу означил тональность потенциального разговора: «Не думаю, что мы с тобой будем исповедываться, ибо полагаю, что сие ни тебе, ни мне — не требуется...» (орфография автора) [13, с. 177]. В феврале того же года Андреев, действительно, приехал к Горькому в Нижний Новгород. Нервозность и волнение, которые, по всей вероятности, сопровождали этот визит, и невозможность разговора по душам (в силу присутствия третьих лиц¹¹) вылились в неприятный инцидент, после которого Андреев спешно уехал в Москву [см. 11, с. 124]. Через неделю с небольшим в извинительном письме к Горькому, он просил объяснить ему суть произошедшего и уверял, что в результате своего непристойного поведения с пониманием отнесётся, если

⁷ Самое первое письмо Андреева к Горькому, известное нам лишь по упоминаниям о нём участников переписки, Горький охарактеризовал как «забавное»: «оригинальным почерком, полупечатными буквами он <Андреев — Л. И.> писал весёлые, смешные слова...» [13]. Во втором письме — в том, которое только сейчас обнародовано, — по мнению публикаторов, «Горького должна была покоробить избыточная исповедальность послания от знакомого лишь по нескольким сочинениям адресата...» [8, с. 393].

⁸ Ранее письмо Андреева к Горькому в первых же строках содержит признание, что «желание хоть немного поговорить с Вами так сильнó..., что побеждает наконец известную совесть, какую испытываешь, отрывая занятого человека от его хорошего дела и занимая его собою» [8, с. 396].

⁹ Такова, по предположениям публикаторов письма 1899 года, была реакция Горького и на первое «экспансивное» письмо Андреева. Следующее за ним письмо Горького датировано 2...4 апреля 1900 г. и «не содержит в себе никаких намёков на минимальную реакцию на страстное письмо-исповедь начинающего литератора: если Горький даже и получил его, то сделал вид, что не заметил крайностей и резкостей послания» [8, с. 395].

¹⁰ По признанию самого Горького, «искренние» письма Андреева «счёл за благо предать огню, жалеючи будущего биографа Леонида...» (из письма А. В. Амфитеатрову, 1913 г.) [ЛН].

¹¹ У Горького гостили ялтинский доктор А. Н. Алексин и А. А. Богданов (Малиновский), учёный, врач, общественный деятель.

ответом Горького послужит молчание¹². Горький не ответил — ссора друзей переросла в долгое, тяготящее обоих безмолвие.

Однако желание окончательно прояснить ситуацию не оставляло Андреева. В период эпистолярной паузы в апреле того же года состоялась новая встреча «друзей». Но уже не в домашней обстановке у Горького, а в Крыму, на ялтинской набережной, и вновь в присутствии третьих лиц. Опять ни примирения, ни обстоятельного и решительного объяснения между писателями не состоялось [13, с. 182].

Всё время вплоть до конца сентября 1903 года пауза в отношениях Андреева и Горького грозила перерасти в окончательный разрыв. Нарушил молчание Андреев, но не напрямую, а через издателя К. П. Пятницкого, посылая тому рукопись рассказа «Жизнь Василия Фивейского» и незапечатанное письмо для пересылки Горькому [13, с. 181]. Это новое большое и, как и ранее, откровенное письмо (ЛН, № 82) адресат получил. На этот раз Горький, также тяжело переживавший конфликт, отнесся к признаниям Андреева благосклонно¹³.

В новой попытке излить свои чувства, служившие и объяснением случившегося, и извинениями, Андреевым впервые «озвучено» имя Навуходносора. И хотя дано оно не в художественном, а в характерном для письма-покаяния контексте, всё же к нему обращаются исследователи, говоря о творческой предыстории образа царя Вавилона у Андреева [3, с. 102]. Это, на наш взгляд, не лишено оснований. Поэтому, продолжая подобную логику поиска «зацепок», представленных в сознании мастера некими мыслительными конструктами, получившими в дальнейшем художественное развитие, мы считаем возможным пойти дальше и «разложить» данное письмо на ряд значимых для навуходносоровой темы акцентов. Они, с одной стороны, раскроют особенности использованного в нём метафорического сравнения, составленного Андреевым на основе библейского образа, а с другой, дадут развёрнутую картину составляющих фигуры Навуходносора в сознании Андреева-человека (на материале его писем и дневников), а позже и Андреева-писателя (в рассказе «Из глубины веков» и некоторых других

¹² Из письма Андреева Горькому (Москва. 25 февраля <1903 г.>): «Алексей! Я был сильно пьян и не могу дать себе вполне ясного и точного отчета о происшедшем. <...> Правда, что трезвый я один, а пьяный другой, правда и то, что я не отказываюсь нести последствия сделанного и сказанного в пьяном виде. Но мне нужно <...> знать, что я сделал.

Ответь, если можешь. Если не хочешь отвечать, то молчание твоё будет достаточным мне ответом, и я пойму» [13, с. 177].

¹³ Из письма Горького к Е. П. Пешковой от 27 сентября 1903 г.: «Л. Андреев прислал длинное письмо, очень хорошо написано. Нужно что-то делать для него, это очевидно. Я — рад. Он талантлив, как сатана. Но — должен будет извиниться перед Ал<ексиным> и Мал<иновским>» (Архив Горького, Т. V, с. 86).

более ранних и более поздних произведениях, в которых использованы сходные мотивы).

Для того чтобы «изъять» из обозначенных писем аллюзии авторского сознания, своего рода «намёки» на будущий, пока ещё «призрачный» в художественном отношении образ Навуходоносора, коротко напомним творческий контекст рассказа «Из глубины веков». Этот текст с центральной фигурой вавилонского царя органичен общему художественному направлению Андреева этого периода [3, с. 101]. Рассказ тесно связан «с замыслами, рождёнными под воздействием желания „дерзко переосмыслить“ евангелические... и ветхозаветные... сюжеты» [Там же]. Библия как претекст многих андреевских произведений сегодня уже данность. Вопросы вызывает лишь степень «погружённости» писателя в библейский контекст, который он, по небесспорному суждению Горького, знал плохо. Дерзость же писателя в изображении царя Вавилона состояла в том, что в факте его временного безумия Андреева привлёк не назидательно-душеспасительный аспект, а манипулятивно-провокационный. В какой-то момент творческого планирования замысел о Навуходоносоре был включён писателем в перечень «маленьких рассказов», где фигура вавилонского правителя предстала в группе таких библейских персонажей, как Иуда Искарот и Елеазар [3, с. 101]. Следовательно, круг прорабатываемых Андреевым сюжетов был таков — предательство Иуды, воскрешение Лазаря, безумие Навуходоносора. Все они, как окажется впоследствии, будут построены автором по провокативной модели: воскресение Елеазара окажется испытанием на крепость земного человека Иномирием; предательство Иуды — не чем иным, как экспериментом над учениками и последователями Христа. Безумие же Навуходоносора представлено писателем как «намеренная» манипуляция — провокативный жест свободного от предрассудков царя своему рабскому окружению. По времени создания рассказ о Навуходоносоре станет одной из первых попыток воплощения художественной провокации у Андреева.

Начальная фаза мыслительной работы над Навуходоносором (конец 1902 — начало 1903 гг.) пришлась на момент сочинения Андреевым повести «Жизнь Василия Фивейского». А первое упоминание образа-метафоры Навуходоносора, напомним, приведено в письме к Горькому от 24 ... 25 сентября 1903 года, вместе с которым был выслан первый вариант рукописи «Фивейского». Само же послание содержало объяснение причин произошедшего полугодом ранее конфликта и искренние надежды на восстановление дружеских отношений. Первое, что в «покаянном»

сентябрьском письме Андреева обращает на себя внимание, это считаваемый уже в начальных строках посыл к образу библейского безумца: «Невыносима мысль, — пишет Андреев, — что над нами, людьми разумными, может восторжествовать бессмыслица, что мы, люди хорошие, отдающие силы хорошей цели, можем разойтись из-за того, что один из нас, я, *в течение нескольких часов, даже дней был сумасшедшим*¹⁴» [13, с. 178]. Формулировка «в течение нескольких часов, даже дней» прямо указывает на временность положения, определяемого автором как некое изменённое, не присущее его носителю постоянно состояние. Факт такого временного сумасшествия перекликается с особенностью ветхозаветной истории о Навуходоносоре, безумие которого ограничено семью годами: «Сердце человеческое отнимется от него и дастся ему сердце звериное, и пройдут над ним семь времён» (Дан., 4:13). Продолжает этот тезис Андреев ещё одним характерным пассажем: «Ведь если бы я заболел психически и совершил бы убийство или какую-нибудь гадость, ты <Горький — Л. И.> не придал бы, конечно, никакого значения сумасшедшему поступку» [Там же]. Так писатель указывает на различие истинного душевного расстройства, за которое человека не карают, от его подобию, в том числе и состояния нетрезвости, за которое человек, несмотря на отсутствие контроля над собой, ответствен. При этом «нетрезвость» самого Андреева всегда имела вопиющие формы: «А я, когда выпью, — продолжает он свои признания, — становлюсь *настоящим сумасшедшим*. Мною *овладевают* странные представления, в которых действительность искажается, как в кривом зеркале; я перехожу через ряд форменных маний, начиная обычно с мании величия, кончая манией преследования...» [Там же]. Более того, в понимании Андреева разница между трезвым и пьяным человеком столь разительна, что расхожая истина — «что у трезвого на уме, у пьяного на языке» — для него сомнительна [Там же]. Далее автор письма рассуждает над феноменом полного «перерождения» в Другого, вплоть до потери связи с истинным «я»: «...даже в зародыше не бывает у меня тех мыслей и желаний, какие являются у пьяного. В полном смысле слова: два различных человека» [Там же].

В «покаянном» письме к Горькому Андреев вынужден был затронуть глубоко личностную тему — свой юношеский недуг нетрезвости, который он долго и настойчиво преодолевал и в итоге успешно поборо. Но если в сентябре 1903 года он писал об этом малоприятном факте, желая детально объяснить причины своего вопиющего поведения, то в раннем письме

¹⁴ Здесь и далее курсив наш, кроме специально оговорённых случаев.

1899 года Андреев откровенничал на этот счёт с целью разъяснить новому знакомому мучительность своих поисков смысла жизни¹⁵.

Нетрезвость с характерными для неё «провалами» в низменное, далёкое от истинного «я», служила Андрееву аллегорией сумасшествия. Однако некое маниакальное состояние давало метастазы и в обыденной «трезвой» жизни писателя. Этим он делился с Горьким в январском письме-исповеди 1903 года, определившем начало напряжённости в отношениях друзей: «Проклятая „слава“ не даёт мне писать, — делился Андреев своими страхами. — Обо мне говорят, на меня смотрят, от меня ждут... <...> Мнителен я до идиотства, нуждой напуган до безумия. <...> ...я с идиотской живостью вижу картины одиночества, заброшенности, болезни; *будто я в богадельне, на мне халат, и руки трясутся.* <...> стоит слегка обстругать меня как „модного“ писателя — тотчас же покажется одинокий, отчаявшийся человек, боящийся людей и жизни» [13, с. 174]. Тогда Горький отмахнулся от этих признаний друга, считая их проявлением безволия. Позднее в сентябре отнесся к этому уже более мягко, но в ответном письме по-прежнему назидал: «От этой проклятой болезни <безволия — Л. И.> в тебе родилась боязнь чего-то, некий, непонятный мне, страх. Я — ничего не боюсь и страстно хотел бы передать тебе моё мужество, оно есть у меня. Что сделать...? Теряюсь» [Там же, с. 182].

Диагностируя терзания и страхи Андреева как отсутствие воли у их носителя, Горький, конечно, с трудом понимал «метафизику» андреевских терзаний. А ведь именно ею писатель пояснял несуразность их проявлений: «...пьянство почти с начала было *вне моей воли*» [Там же, с. 178]. И это второй тезис навуходоносоровой темы. Пьянство, как и безумие, с которым Андреев сопоставил свой недуг, неподвластно человеку, вне его понимания и контроля: «...и оттого оно, — уверял автор, — ...для меня непередаваемо страшно, как безумие, о котором человек знает, что оно каждую минуту может вернуться и захватить его» [Там же]. Так обозначает Андреев одну из сложнейших категорий своего мироощущения — порабащающую человека роковую волю. Рок, в понимании художника, жестокая судьба, несчастья которой предопределены неведомой силой, а также сама эта неведомая сила по отношению к человеку. Впервые наиболее ёмко рок показан писателем как раз в предшествовавшем рассказу о Навуходоносоре «Василии Фивейском». Лейтмотивность Книги Иова в «житии» сельского священника определяет понимание Бога как стихии, суть и сила которой «вне воли» человека. Желание отца Василия «побороться» с ней в дерзновенном акте воскрешения мёртвого оборачивается молниеносным ответом Небес — скоропалительной

¹⁵ Не менее откровенен Андреев в своём раннем письме и относительно своих попыток самоубийства, поисках любви и пр. [8, с. 396–397].

смертью Фивейского. Тем же образом воля свыше определяет и судьбу Навуходоносора, стяжавшего мощь славы земной, но не избежавшего падения по воле Всевышнего.

Метаморфозу «уважаемый человек – падший человек» Андреев воспринимал болезненно. Признание в письме-исповеди, что жизнь его «долго... складывалась из страха перед ... пьянством со всем позором падения, снова страха и нестерпимого стыда» [13, с. 178], есть не что иное, как понимание общепринятых правил через осознание своего «выпадения» из системы норм. И далее следует признание: «Если рассказать всё об этом стыде, это было бы страшнее всех моих псевдострашных рассказов; но <...> не хватает силы даже думать. Ведь я всегда носил в себе человека, мечтал о благородстве слов и поступков, мыслей, даже о величии» [Там же]. Метафорическая параллель с Навуходоносором возникает сразу после слов о «величии» и его утрате под влиянием факторов извне: «Был маленьким Навуходоносором, которого периодически *превращали* в скота, *ставили* на четвереньки и *заставляли* есть траву и всенародно мочиться» [Там же].

Исповедальное письмо, где впервые упомянут Навуходоносор, отделяет от рассказа «Из глубины веков» менее полугода (конец сентября 1903 г. — начало февраля 1904 г.). Заманчиво в этом случае принять оброненную в письме фразу за предтечу художественного образа царя. Так сказать, устойчивый мыслеобраз дал спонтанную проекцию в частном письме, а позднее обрёл художественную форму и самостоятельную трактовку в рассказе. Однако, по утверждению Л. Н. Афонина, замысел о вавилонском царе «осел» в сознании Андреева годом ранее — в конце 1902 года [3, с. 99, 103]. Поэтому допустимо предположить, что навуходоносорова метафора-сравнение до своего «озвучения» в сентябрьском письме 1903 года уже имела ментально-мысленное бытование в мыслях автора. Изначально образ вавилонского царя формировался, конечно, в полном соответствии с традиционной трактовкой, то есть как религиозно-культурный конструкт, в целом до середины XIX века известный исключительно по библейским преданиям. К осени 1903 года в контексте непреодолимо-роковой воли свыше, в котором представлены рассуждения Андреева о Навуходоносоре в указанном письме («превращали», «ставили», «заставляли»), образ вавилонского царя понимается автором не совсем традиционно ветхозаветной истории об обращении героя в скота в наказание за гордыню. Здесь роковая стихия уже подобна тому «безумию», что превращала самого Андреева, мечтавшего «о благородстве слов и поступков, мыслей», в животное. Однако даже если письмо сентября 1903 года признать первым, где ранее неопределённые черты образа проявлялись пусть и разрозненно, но в точной

словесной номинации, то формирование в творчестве писателя одного из показательнейших мотивов, характеризующих «скотство» библейского Навуходоносора, приходится на более ранний период. Речь о мотиве, условно называемом нами «на четвереньках» (встать или принудительно быть поставленным), посредством которого Андреевым недвусмысленно репрезентируемы характерные для безумцев симптомы поведения.

Этот мотив имеет глубокую укоренённость в сознании Андреева и, пожалуй, требует отдельного развёрнутого исследования. Для нас важнее, что в один из периодов активной разработки писателем образа Навуходоносора именно «четырёхногая» поза, в которой автор намеревался предъявить своего героя читателю, должна была стать показателем утраты им человеческого облика: «Я заставлю его <Навуходоносора — Л. И. > выйти на четвереньках, как животное...», — делился Андреев планами драмы о царе Вавилона с другом Аркадием Алексеевским [Цит. по: 3]. На этой стадии развития замысла ещё не ясна добровольность низведения себя на четвереньки или же принуждение царя к этому действию. Как не прояснено и авторское целеполагание данного акта: Божия ли это кара или добровольное побуждение правителя Вавилона воздействовать подобным «клиническим» способом на трусливое окружение, готовое рабски принимать странные выходки властелина за его новый каприз [Там же]. Как бы то ни было, но образ сумасшедшего, явным показателем нездоровья которого служит ползание на четвереньках, реализован Андреевым ранее замысла о Навуходоносоре — в рассказе «Мысль» 1902 года. И уже тогда тема безумия носила своеобразный характер — в ней угадывался экспериментально-провокативный принцип поведения героев. Так, в записях доктора Керженцева находим:

«В один тихий и мирный вечер <...> я сел на приготовленной постели и продолжал думать о том, чего мне хочется. А хотелось мне странных вещей. Мне, д-ру Керженцеву, хотелось выть. <...> Хотелось рвать на себе платье и царапать себя ногтями. <...> И хотелось мне, д-ру Керженцеву, *стать на четвереньки и ползать*.

<...> Но вот я подумал: „Да зачем же ползать? Разве я действительно сумасшедший?“ И стало страшно, и сразу захотелось всего: ползать, выть, царапаться» (курсив автора — Л. И.) [5, Т.1, с. 414–415].

«Падение» Керженцева, конечно, ещё далеко не «предумышленное скотство», каковым Андреев позднее означает метаморфозы Навуходоносора [13, с. 212]. Оно даже не совсем сознательное, намеренное и контролируемое героем действие в рамках хорошо продуманной доктором «аферы» с сумасшествием. Герой смеётся над нелепостью своего ползания на

четвереньках, объясняя его самовнушением [5, Т.1, с. 415]. Но тем зловещее предстаёт живо обнаруживаемое в его сознании желание «соскользнуть со стула», а память хранит непривычные ощущения в конечностях, в которых «происходит что-то странное: тяжёлое онемение борется с желанием согнуть колени...» [Там же, с. 416].

После реализации в повести «Мысль» мотива «на четвереньках» как странного томления-искушения доктора Керженцева, он перекочевал в замысел о Навуходносоре [2, с. 254, 255, 256], где предстал уже как сюжетно- и конфликтообразующий фактор. Отголоском этого мотива можно признать трансформированный эпизод в создаваемом параллельно рассказу «Из глубины веков» «Красном смехе» (1904), где неожиданно врач делает стойку на руках, и фарсовую сцену порки крестьян в повести «Губернатор» (1906). Однако в сопряжении с идеей величия и животности человека мотив «на четвереньках» будет возрождён Андреевым вновь в драматургической переработке сюжета о докторе Керженцеве. В пьесе «Мысль» (1913) совместится весь комплекс положений о странном безумии и тоске о неведомом, на этот раз имеющий в своём составе также представления о царе, властелине. Подопытной обезьяне — орангутангу Джайпуру (как позднее и её «господину» — доктору Керженцеву) изменит мысль, остановится в своём развитии, и своим замиранием обусловит обратную эволюцию «царя» лесов: «он <Джайпур — Л. И.> покрылся волосами снова, он снова *стал на четвереньки*, он перестал смеяться — он должен умереть от тоски. Он *развенчанный царь...!* ...экс-король земли! От его царств осталось несколько камней, а где владыка — где жрец — где царь? Царь бродит по лесам и умирает от тоски» [5, Т. 5, с. 90].

Томимый думами, Навуходносор встаёт на четвереньки в силу иных причин, определяющих особый статус его «превращения» в животное. И это следующий (уже третий) тезис темы Навуходносора у Андреева.

Этого «особого статуса» никак не мог понять и, соответственно, принять Горький. Оценивая созданный Андреевым в рассказе образ, «буревестник» воодушевлялся не фактом скотства царя, а гипотетическим его преодолением, при этом не столько царём, сколько угнетаемыми им рабами [13, с. 210]. Андреева, в свою очередь, совершенно не интересовали образы рабов: их он рассматривал как ближний круг сильной личности, не находившей в своём окружении высокого содержания [13, с. 212]. На пафос Горького о геройстве человека, поборовшего в себе раба, Андреев отвечал иным пониманием геройства и признанием в связи с этим «за скотством некоторого весьма даже своеобразной красоты и смысла» [Там же]. В эпистолярных комментариях к своему Навуходносору Андреев чётко указывает на акт «предумышленного

скотства» главного героя, в котором, по его разумению, «больше гордости и свободы, чем в геройстве» [Там же]. Важным для писателя было и то, что решиться на него человек рабской психологии, угнетённый жизнью, роком или инстинктом (как, например, герои «Бездны», «В тумане», «Жизни Василия Фивейского»), не в состоянии. Высокий акт самоуничтожения может явить лишь герой возвышенного чувствования жизни — «образ одинокого, свободного, смелого человека, который отверг славу, могущество, мудрость во имя чего-то лучшего» [Там же]. Вот почему именно царь был в центре внимания Андреева. И смысл его провокации виделся автору как «высшее утверждение своего „я“ на своих собственных развалинах» [Там же]. На ценности и правомерности именно такой метаморфозы царя Андреев и настаивал [3, с. 106].

Это вовсе не означало, что писатель был глух к героизму в традиционном его понимании, в том числе и революционному [см. ст. 12]. Сожалея о собственной неспособности к героическим действиям¹⁶, Андреев высоко ценил решимость других, даже если она служила «малому» делу. Как, например, самоотверженность безымянного персонажа его миниатюры «Марсельеза» (1905). Но при этом подвиг её главного героя, как и ранее действия Навуходоносора, автором осмыслен как прорастающий из той же «скотской» природы человека — «маленькой свиньи» с душой зайца и терпеливостью рабочего скота [5, Т. 2, с. 148]. Именно преодолев в себе раба вещей, привычек и обстоятельств, герой явил спящий в нём высокий дух.

Симптоматично, что той же амплитудности внутренних процессов и душевных метаморфоз Андреев искал и в произведениях Горького, довольно смело высказываясь о недостатках его художественных решений в рамках своего понимания героического. Так, характеризуя Илью Лунёва из романа «Трое», героя исключительно обострённых душевных реакций, Андреев негодовал по поводу недостаточной его «дерзости», в чём видит изъян Горького-художника в реализации задуманного: «„Трое“ нравятся мне не безусловно, — сообщает Андреев Горькому в письме от 30 декабря 1901 года. — Задуманы они сильно — это видно сразу — исполнены слабо. Хуже всего Илья» [13, с. 126]. Обстоятельно развивая свою мысль о лучшей, с его точки

¹⁶ Из письма Андреева к Горькому от 21 мая 1901 г.: «Я человек жизни внутренней, душевной, но не человек действия, и в тех случаях, когда нужно бороться не только словами, но и делом, я бессилён, не находчив и постыдно бесполезен и, страдая за вас, я страдаю ещё более от скверного сознания, что ничего сделать ни для вас, ни для Екатерины Павловны я не могу и не умею. Не умею — вот самая гадость. Хорошо не все оказались такие, как я» [13, с. 90].

Ещё в письме Андреева к Горькому от 4 января 1902 г.: «По натуре я не революционер; не люблю шума, драки, толпы и теряюсь в них; не люблю тайны и болтлив, вообще в действии не гоюсь ни к чему. С другой стороны, люблю в тишине думать, и в области мысли моей задачи мои, как они мне представляются, революционные. Мне ещё очень много хочется сказать — о жизни и о боге, которого я ищу» [13, с. 128].

зрения, траектории развития центрального характера, Андреев указывает на просчёты друга: «Он <Илья — Л. И.> должен был погибнуть, но ты погубил его на интеллигентный манер — он съел всего себя без остатка, как заправский Гамлетик, и когда мозги его вылетели из башки, в них уже ничего не оставалось путного. Он должен был стать силой, тёмной силой, <...> но не тряпкой. Своё *отчаяние о жизни* он должен был вылить в *отчаянные формы*. Он прошёл полосу буржуазного благодушия; он также должен был миновать полосу интеллигентного бессилия, а не застревать в ней. <...>

Бессильное топтание Ильи на одном месте прямо злит меня. Ни протеста настоящего, ни злой критики — а просто обалдел человек.

<...> Почти полкнижки Ильи растёт у тебя, как дубок, и вдруг сразу — стоп машина! Закружился на одном месте, как подстреленный, рассыпался, как воз с интеллигентной рухлядью. Да тот ли это Илья?» [Там же]. В этом герое Андреев, вероятно, увидел представителя близкого и дорогого ему типа взыскующих свободы и дорастающих до её обретения: «...Илья родился маленьким, и вся жизнь его — рост, синтез, воля, разными протоками сливающаяся в одно русло. Он должен был проглотить и Якова и Пашку, которым гибель на роду была написана, и претворить их страдания в кровь, и растолстеть от них так, что ни в одни ворота уже не пролезть, а нужно ломать стену по целому» [Там же]. Поэтому развитие этого образа полагалось Андреевым в «отчаянном», подобно «преднамеренному скотству» Навуходносора, варианте: «Если бы он <Илья — Л. И.>, как Моор, в *разбойники пошёл*¹⁷, и то было бы лучше, чем, по образу и подобию Раскольникова, кувыряться перед самим собою и народом. Первое было бы *правдой*» [Там же]. Заметим, своего «Моора» Андреев воссоздаст в романе «Сашка Жегулев» (1911), где «жестокое ремесло» главаря лесной шайки Жегулева, как и героя Шиллера, обусловлено не жаждой обогащения, а бунтом против непреодолимых обстоятельств омещанившегося мира. Так что представители принципиально разных социальных слоёв — разбойники, босяки и цари — в андреевском осмыслении, образы одной психологической складки — свободные от предубеждений и общих установлений, а значит, действующие в силу особых внутренних импульсов.

Итак, царя — по реальному ли положению или по духу (коим может быть и деклассированный люмпен, и человек вне закона) — отличает способность возвыситься как над общественными установлениями, так и внутри личностными препонами. Обычный человек на такое не способен в силу утраты способности к адекватному восприятию видимого и слышимого.

¹⁷ Герой драмы Ф. Шиллера «Разбойники» (1781) Карл Моор в качестве внутреннего протеста возглавляет шайку разбойников после «мнимого» отречения от него отца.

Рабская психология не позволяет «рабу» быть свободным даже в собственных мыслях, желаниях, отношениях. Отсюда парадокс — неспособность людей отличить истинное от ложного. В письмах, в которых, на наш взгляд, отражена предыстория образа Навуходносора, этот факт, который мы трактуем как четвёртый тезис темы свободного правителя, представлен широко. В письме 1899 года Андреев анализирует его в соответствии со случаями своей жизни: «Напившись, я или лгал, но не чувствуя и не сознавая лжи, или говорил правду и делал правду — и тогда люди меня, как бешеного, отвозили всё в тот же участок» [8, с. 398]. Это напоминает лесковского Левшу, чью искреннюю заботу о преуспевании державы окружающие принимают за болезненный бред. Норма, признаваемая антинормой, может иметь и обратную аберрацию — любая симуляция: и сумасшествие, и скотство с хождением на четвереньках, и скоморошество — может быть принята за норму. Последнее Андреев также находил у Н. Лескова [7, с. 59]. Пример скомороха Памфалона¹⁸ он приводил в ходе своих разъяснений сути «предумышленного скотства» Навуходносора: «Разные бывают скоты, разные и герои, и в конечном предумышленном скотстве, пожалуй, больше Памфалон¹⁹ гордости и свободы, чем в геройстве: герой может рассчитывать на сочувствие, если не современников, то потомства... На что может рассчитывать „скот“?» [13, с. 212]. Отсылка к фигуре «грешного смехотворца и беспутника, оказавшегося способным ради любви к человеку проявить подлинное благородство и праведность» [7, с. 59] подтверждает, что авторское представление о «ненормальности» выходило за пределы простой симуляции. Андрееву свойственно было понимание особой миссии человека с поведением, отпадающим от нормы, а проблему, по мнению писателя, составляла неспособность окружения распознать добродетель «юродской провокации» [см. 6], отличив её от подменно-суррогатных форм. Уже в раннем своём письме Андреев рассуждает о бинарности вопроса, «что хорошо и что дурно» (норма–антинорма), сознавая, что «каждый день ... решал его по-новому, и делал попытки поступать так, как я [хочу] нахожу нравственным...»²⁰ [8, с. 397–398]. «Нравственное» в системе собственных, а

¹⁸ Рассказ Н. Лескова «Скоморох Памфалон» (1887).

¹⁹ Слово «Памфалон» вписано в основной текст письма.

²⁰ Интересны рассуждения о норме-антинорме в дневнике молодого Андреева. Запись от 27 марта 1897 года гласит: «Мне совершенно безразлична общая польза, если она не совпадает с моей. Ум, воспитанный в известных традициях, автоматически отмечает: это чёрное, это белое, но сердце не чувствует ни радости, ни горя. <...> ...я отчаяннейший эгоист. <...> И мне даже стыдно немножко, потому что этим я нарушаю приличия» [1, с. 42]. Здесь же о приличии как системе норм, предписывающей «людям известного имущественного и умственного ценза иметь соответствующие мысли и чувства» [1, с. 42]. «Хотя ум мой и автоматически, но в то же время и так упорно, повторяет

не общих ценностей даёт право на самые дерзкие выпады. Но в реальности, к счастью, писателю «они не удавались. Например, — признаётся он Горькому — я не мог красть» [Там же, с. 398], и в целом «подло действовать» [1, с. 44]. Сложный же комплекс внутренних противоречий, «когда язычник вступал в потасовку с христианином, а анархист тузил социал-демократа» [8, с. 398] Андреев разрешал тем, что в жизни продолжал «поступать ... по привычке» [Там же], то есть соответственно общепринятым нормам. Мыслилось же не «по привычке», а «по разуму», то есть в «предумышленных», по определению Андреева, дерзновениях. Неосуществимые в жизни, смелые прожекты стали возможны в формате литературно-художественных измышлений. Способность заглядывать, а порой и заступать за черту в поиске ответов на «проклятые» вопросы, стала критерием поведения ряда литературных персонажей Андреева. При этом их «ненормальности» далеко не всегда негативны. Их инициаторов Андреев наделяет экспериментально-провокативным образом мыслей и прописывает для них соответствующий сценарий поведения. Нестандартная проверка того, «что хорошо и что дурно», по принципу «поступать так, как я нахожу нравственным» в единственно возможном для этого пространстве — на бумаге — стала писательским кредо Андреева: «...я с искренним недоумением смотрю на людей, которые не пишут <не занимаются литературой — Л. И.> и живут, стараюсь представить себе, что же они в таком случае делают, и никак не могу. Спят, едят, танцуют, влюбляются... Но ведь всё это только условие и материал для писанья, а если они не пишут, зачем петь, спать и влюбляться? И я искренне жалею их и не могу поверить, чтобы и я когда-нибудь был таким» [8, с. 396]²¹.

В нестандартности подхода к художественному изучению жизни Андреев был искушён в самом начале своего творческого пути. Именно с этих позиций становится понятным странное, на первый взгляд, и даже дерзкое суждение писателя в его раннем письме о том, что всё написанное Горьким о босяках мог бы написать он сам [8, с. 400]. В качестве главного ценза полагалась, конечно, столь близкая писателю по духу свобода «бывших» людей от любых правил жизни, их независимость, столь заманчивая для

своё «чёрное», «белое», что если бы в жизни я удавился, пошёл наперекор этим определениям, то сам себя со свету сжил бы» [1, с. 44].

²¹ Сочинительство спасло Андреева и от юношеского недуга: «...водка поддерживалась бессмыслицей моей жизни. Только с начала моего писательства ... борьба стала успешнее, и постепенно, шаг за шагом, водка стала вытесняться из моей жизни. Стали появляться промежутки трезвости, сперва короткие..., потом более продолжительные и самопроизвольные.

С одной стороны, писательство, в котором я нашёл смысл моей личной жизни, с другой, два влияния — твоё <Горького — Л. И.> и Шурино сделали то, что водка стала редкою, умирающею случайностью; начал проходить страх, явилась надежда и радость освобождения» [13, с. 178–179].

самого автора, в юности мечтавшего «обратиться в „хитровца“» (босяка, обитателя ночлежек — Л. И.) [Там же, с. 398, 399]. Следовательно, такое поведение, а также его восприятие окружающими были предметом интереса Андреева задолго до того, как им была избрана литературная стезя. На этой же стадии мысль о независимом человеке, даже всего лишённого, но именно этим освобождённого от рабского закрепощения, рождало образ свободного царя: «Давно ещё, — вспоминал Андреев в письме 1899 года факт своей биографии, — ...я изображал... наслаждение человека, выведенного на торговую казнь, с которого снято всё: одежда, стыд и ложь — и который под плетью чувствует себя *свободным*, как *царь*» [8, с. 399]. Более того, это чувство важнее и ценнее идиллических мечтаний о времени, когда «всякая добродетель войдёт в привычку» [13, с. 196], ничего, кроме глубоко скепсиса, у автора не вызывавших: «Как бы хороши ни были все ... положительные построения „будущей жизни“, они всё же никуда не годятся, так как в том или другом виде преподносят одно: конец» [Там же]. Вместо ожидания счастливого времени Андреев готов, как и его побиваемый толпой царь²², испытывать и терпеть боль (например, в животе) и искушения славой, уверяя, что в случае, если бы ему «сказали наверное, что живот больше болеть не будет и я в воскресенье сделаюсь Толстым, — наверное — я, вероятно, напился бы с отчаяния и *разрушил бы все предначертания*» [Там же]. Это вынуждает думать, что и Андрееву-человеку, и его писательской музе просто необходимо «разрушение предначертаний», подобное случаю из воспоминаний детства писателя: «У меня был давно когда-то репетитор студент, и у него была гитара, и он однажды сел на гитару — захотелось послушать, как она будет трещать» [Там же]. Позднее в письме Горькому от 11 ... 14 февраля 1904 года (заметим, времени создания рассказа «Из глубины веков — авторская дата 14 февраля 1904 г.) писатель приводит показательное для природы его чувств умозаключение: «И скажу тебе <Горькому — Л. И.> по совести: живу я сейчас мило, благородно, трезвенно, сыто, почётно. ...и мысли у меня благородные — всё о свободе и любви, ... а минутами до остервенения жаль бывает того времени, когда и одиночество, и голод, и вражда, и пустыня, и чёрные провалы пьянства, и *сатанинская гордость под плевками*, и *гордые великолепные надежды на престоле отчаяния*» [Там же].

Однако воплотить столь сложный комплекс чувств и действий оказалось непросто не только в жизни с её устойчивыми стереотипами, но и во второй реальности, свободно создаваемой на бумаге. С одной стороны, потому, что

²² Если в данную категорию как её логическое продолжение вставить образ оплёвываемого, и в этом также проявляющего своё Божественное величие Иисуса Христа, то Андрееву ближе, пожалуй, Христом, изгоняющий торгующих из храма, нежели Христос-Спаситель.

писать так, как писал на тот момент близкий по духу автор босяков Горький, не представлялось возможным [8, с. 400], с другой — собственные литературные ранние опыты проходили в основном «по части умиления»²³, опротивевшей автору [Там же, с. 399]²⁴. Наконец, решение было найдено. О спасительном осознании своего пути в литературе Андреев сообщал следующее: «Явилась мысль очень простая, но очень [утеши<тельная>] радостная: ведь есть же у меня люди, порядки и вещи, которые я ненавижу? Есть же и люди и вещи, которые я люблю? Кто же мешает мне, раз у меня есть хоть крохотная способность владеть словом, сделать то, без чего я чувствовал себя несчастным: т. е. говорить *мою правду*? *Мою* — какова бы она ни была?» [Там же, с. 401]. Утверждение и пояснение того, какова она андреевская правда, находим и в «исповедальном» письме сентября 1903 года. В нём мысль писателя о сущности только ему присущей творческой манеры прозвучит уже не как гипотетическая реальность, а как чётко осознаваемый факт: «Никогда не пишу я нарочно о том, чего сам не пережил и не перестрадал... <...> ...и если вещи мои нравятся, то потому, что они *искренни* — то есть *правдиво выражают меня*. <...> Я много думаю о жизни и о смерти и чувствую в них глубокую тайну, но отношение моё к этой тайне как к опущенной занавеси: хочется приподнять её, а никак не залезать по ту сторону, в темноту, и там чревоуещательствовать» [13, с. 179–180].

Достижение этого этапа творческой эволюции Андреев обосновывает и чуть ранее в январском письме к Горькому, в котором, по сути, даёт ответ на

²³ К 1899 году в «Курьере» Андреевым опубликованы рассказы «по части умиления»: «Баргамот и Гараська» (№ 94 5 апреля 1898), «Алеша-дурачок» (№ 268, 269, сентябрь 1898), «Защита. История одного дня» (№ 308, 8 ноября 1898), «Из жизни штабс-капитана Каблукова» (№ 355, 25 декабря 1898), «Молодёжь» (№ 74, 76, март 1899)», «В Сабурове» (№ 107 апрель 1899), «Петька на даче» (№ 3, 5, 7 август 1899). Подготовлены к печати «Большой шлем» и «Ангелочек», опубликованные в «Курьере». Однако были у Андреева попытки создать произведения в противном «умилению» духе, в частности рассказы «Загадка» (1895), «Оро» (1897), «Мать» (1898), «Держите вора!» (1899), более напоминающие зрелого Андреева. Однако, показательно, что эти вещи, как и более поздний рассказ «Из глубины веков», при жизни автора опубликованы не были.

²⁴ Впоследствии уже будучи популярным и читаемым автором Андреев заметит подобное и относительно зрелых своих вещей. Этот момент отразится в беседе с Петром Пильским:

«— И в литературе стали произрастать тоже только одни декорации, а нужна душа. И я вот всё время думаю, что и вы, и другие совсем напрасно похвалили мой «Рассказ о семи повешенных».

— Плох?

— И не плох, может быть, но писать такие вещи легче лёгкого. Никак я не пойму моего читателя: такие безделушки, как «Семь повешенных» нравятся, а «Царь-Голод» не нравится. Ну что может быть более потрясающего, чем самая простая и точная корреспонденция о повешенном человеке в каком-нибудь далёком и захолустном городишке?.. И больше я уже не читаю их, этих правдивых, ясных и ужасных известий. Веду статистику, но если бы ко мне пришли сейчас и рассказали, какое лицо было у приговорённого, у палача, у прокурора, я прервал бы рассказчика и не стал слушать» [17].

Там же: «А тайно сам я больше на стороне и своей «Тьмы», и своего «Проклятия Зверя», чем «Рассказа о семи повешенных», который похвалили и Вы, и Алексей Кириллов в «Весах», и, кажется, ещё многие. «Тьмы» так и не поняли, а, может быть, и я сам не сумел сказать так, как хотел» [17].

вопрос, оставшийся для него без ответа: «...я долго и бесплодно искал своё настоящее я, и странно это: совсем неожиданно я нашёл его в *своих* рассказах. Там нашло отражение *моё* глубокое, сокровенное, тайное, о чём я никогда не умел и не умею говорить. Там из-под кучи сора начал вырисовываться на свет тот самому мне неведомый новый человек, которого я, ещё робко, осмеливаюсь иногда уважать» [13, с. 173]. Из знаковых качеств этого нового человека в данном письме Андреев укажет лишь его двойственность, ту, что и ему самому свойственна и тяготила в общении с людьми, в частности с Горьким. Двойственность в андреевском случае — это сосуществование истинного и показного «я»²⁵, которых окружающие не могли распознать. Не исключено, что на основе представлений о своей правде, глубоко коренящейся в субъективно-личностном, нераспознанной окружающими, сокрытой спудом жизненных регуляторов и внутренних закреплений, у Андреева и выросла мысль о провокации царя Навуходоносора — уже не жертвы безумия, а его сочинителя. Ношение маски безумца высвобождает истинное, «прокрустовым ложем» установлений и норм усечённое. Предумышленное высвобождающее безумие даёт Навуходоносору возможность моделировать новую реальность: проецировать всё, что угодно, и провоцировать окружающих на подлинное волеизъявление. И в свободном акте со-творения реальности Навуходоносор новыми глазами смотрит на мир.

Критическое отношение к окружающим, как один из «стимулов» «ненормального» поведения, Андреев щедро фиксировал в дневниках [1, с. 42, 44]. Мыслями о нём он поделился в своём раннем письме Горькому: «Если я до сих пор не научился ещё любить, то ненавидеть приходилось. Но... Не как враг ненавидел я действительность, а как раб её, исподтишка, с оглядкой и страхом. И сколько тут пришлось лгать — даже во сне бывало лжёшь, так как видишь людей, не какими их знаешь, а какими пожелаешь. И это было, кажется, самое ужасное, что мне пришлось испытать. Отчаяннейшее презрение к себе, ненависть к миру, сознание одиночества и жажда и страх смерти — вот тот дьявольский концерт» [8, с. 398], спасения от которого Андреев искал в состоянии, самым им квалифицируемое как временное безумие, обусловленное внутренней не всегда различимой окружающими правдой. В этом откровении 1899 года явлены все ключевые мотивы будущего

²⁵ В «исповедальном» письме к Горькому: «Быть может, и до тебя дошёл звон цепей. Ибо правда это: во мне ужасно много мещанского тяготения к благополучию, к погремущкам, к внешним знакам почёта; трусоват я, люблю поговорить о себе, а когда у меня болит мозоль на две копейки, беспокойство я делаю на сто тысяч. <...>

Но видишь ли: у меня всегда было смутное подозрение, что этот противный господин в лаковых сапогах, который так часто говорит о своем я, — не есть я» [13, с. 173]. Далее: «...нужно, чтобы и ты знал эту несчастную двойственность, чтобы и ты не смешивал моих лаковых сапог с моим настоящим я» [13, с. 174].

замысла о Навуходоносора, как-то: одиночество, спасение во «временном безумии» от лжи и ненависти к людям рабской психологии, наконец, смерть, ощущаемая во взаимоисключающих желаниях — жажде её и страхе перед ней. Позднее на начальной стадии работы над Навуходоносором в форме драмы «Царь» в плане задуманного произведения Андреев зафиксировал составляющие характера главного героя²⁶, среди которых обозначит «ужас непостижимой смерти» [2 (коммент.), с. 749]. Отмеченная же ранее «жажда смерти» в замысле драмы о царе, возможно, трансформирована в «жажду животности» [Там же] как временной смерти²⁷ истинного «я» Навуходоносора.

Тема Навуходоносора — царя, сбрасывающего с себя оковы властелина, — проецировалась в сознании Андреева массой ментальных скреп, но так и не далась автору. Возможно, потому, что в творческом процессе не выдерживала «конкуренции» с подобными образами «идейных» бунтарей Саввы Тропинина, Сашки Жегулева, фигурами из библейского пласта — искусителем Анатэмой, Самсоном в оковах лжи и обмана, а позднее — самим князем тьмы с его inferнальной игрой человечеством. Но ближайший к Навуходоносору, конечно же, Савва. По поводу пьесы об иконоборце примечательны сомнения Андреева в том, что её художественный замысел будет понят. Об этом автор также рассуждает в эго-документе: 8 марта 1906 года в письме брату Павлу Андреев мысли по поводу пьесы «Савва» начинал уже знакомой сентенцией о безумии как форме остранения: «Конечно, нужно быть немного сумасшедшим, — пишет Андреев о себе как создателе столь необычного образа. — Много — нехорошо, посадят, а немного — *придаёт жизни особый, острый вкус, отвлекает от её лживо-реального, делает неисчерпаемо богатой*» [4, с. 276]. Осознавал Андреев, что и реакция на то, что им реализовано в «Савве», не будет однозначна, и хорошо понимал механизм читательско-зрительского восприятия: «...здоровые люди придут в огорчение и недоумение. <...> Безумно! Дико! Наконец просто так невозможно. А он <Савва — Л. И.> задумал и уверен, что это хорошо и что это можно. Трезвому уму понять это нельзя; трезвый ум склонен к трезвой справедливости и сейчас же начнёт выбирать, что хорошего можно оставить, а так как всё хорошее обязательно с другого боку плохо, а плохо — хорошо, то, в конце концов, всё и оставит» [Там же]. Под эпитетом «трезвый» понимается

²⁶ «Личность — Екклезиаст + Навуходоносор. „Суета“ и ужас непостижимой смерти. Жажда животности. Пустыня» [3, с. 101; 2 (коммент), с. 740].

²⁷ Подобно мнимой смерти в некоторых обрядах инициации.

ум, шлифованный усреднённым нормам. С этой позиции многое задуманное и осуществлённое героями Андреева кажется вопиющим, возмутительным. Ну а задумку Саввы с позиций нормы (в том числе и политических программ времени) нельзя, по мысли писателя, квалифицировать иначе, как «безумие» [Там же]. Однако приводимые в письме к брату пояснения выражают андреевский замысел однозначно, как и посыл автора, который почти в точности дублирует специфику двумя годами ранее созданного сюжета о Навуходоносоре: «Едва ли поймёт кто и истинный смысл вещи: как *последнюю крайность против гнусностей жизни*» [Там же]. А гнусностью, по убеждению Андреева, является характерное для современного «культурного» европейца «чувство собственности» — «чувство осязания», «так же чувство приличия, порядка, “уважения к закону,»,» даже если «закон палка — уважают эту палку» [Там же]. «Всё глупое, дрянное..., — заключает Андреев, — здесь <в Европе — Л. И> отлилось в железную несокрушимую форму, ибо вошло в душу» [Там же]. Целью безумной провокации андреевского Навуходоносора, а затем Саввы, Сашки Жегулева и др. есть эти «железные» формы общественного сознания, поработившие человека, исказив всю его природу. Опасение вызывает лишь то, что «некультурные», с этой точки зрения, русские люди, ранее в уважении к «палке» не замеченные, настойчиво к этой норме стремятся: «Ибо вырождается человек, мельчает, тупеет среди этих железных форм и рабства» [Там же]. Незавидна перспектива и стран с «железными законами»: «Возьмите все существующие республики, где правят хорошо, — Францию, Швейцарию, Америку; что слышно оттуда о движении человека вперёд — к разуму, к искусству, к познанию, к социальной, наконец, справедливости? Ничего. Мёртвые страны. Работают, едят, пьют, умирают. И это всё» [Там же, с. 276–277]. Далее: «Здесь <в Европе — Л. И> я... начинаю серьёзно — и без всякой мистически-славянофильской подкладки — думать, что если придёт откуда-нибудь свет, то не иначе как с востока — из России. ...но Европа и дети её, Америка и Австралия, по-видимому, конченные страны» [Там же, с. 277].

Как видим, размышления Андреева в духе безумных проверок-взрывов его Навуходоносоров-Савв касались широкого круга проблем, вплоть до решения вопросов мирового устройства. Однако множественные попытки после рассказа «Из глубины веков» переосмыслить сюжет о безумии Навуходоносора в максимально точном соответствии мысли писателя так и не осуществляются. Одним из отголосков неотступной, но так и не поддавшейся темы гордого и безрассудного Вавилона можно считать «превеселенький рассказ из быта сумасшедших» [13, с. 228] «Призраки» (11 октября 1904 г.) о круговерти безумства в лице пациентов психиатрической лечебницы и их

доктора Шевырева, коротающего свои серые вечера в ресторане под названием «Вавилон»²⁸.

Замысел же о царе Навуходоносоре для исследователя интересен не только с точки зрения оригинальности художественного переосмысления библейского сюжета, но и ходом формирования своего неповторимого «хромосомного» набора того, что Андреев называл «моя правда». Информацию о предпосылках, о спорадичных и бессистемных мысленных началах и интуитивных угадываниях содержат эго-документы Андреева. Отражённые в них я авторские «настроения», представления о жизни, порядок и направление мыслительных потоков дают представление о «цепочке» формирования многих творческих проектов и художественных конструкций.

В основу одной из оригинальнейших интерпретаций Леонида Андреева библейского Навуходоносора легли не только художественные, но и субъективные психо-эмоциональные и ментально-мыслительные проекции авторского сознания. Об их укоренённости в структуре созданного писателем образа, а также мыслимых им, но, увы, неосуществлённых переработках, свидетельствуют эго-документы, в частности письма Андреева. Существен для творческой манеры этого писателя в целом и для анализируемого нами случая факт, что нарочно придуманных, не пережитых и невыстраданных лично автором событий нет, а все его вещи *правдиво выражают* его «я». Если принять его во внимание, то именно эго-документальное наследие Андреева является лучшим способом понять, что явилось подпочвой его художественных замыслов. Даже если принять во внимание свидетельство Андреева о том, что многие его произведения (как, например, «Дни нашей жизни», «Чёрные маски», «Сын Человеческий», «Анатэма») — «импровизации» (S.O.S, с. 23), то всё же импровизации, по признанию самого автора, не всегда совершенно новы, но также и планы «только раньше слегка продуманы, без деталей и без плана» [Там же]. То есть и импровизация имела конструктивную основу, выявление которой и в академическом осмыслении наследия писателя и в рамках продуктивных для современного состояния науки о писателе всех ценно.

²⁸ Помимо яркой библейской символики Вавилона — образа суетливого и падшего существования (в противоположность Небесному Иерусалиму), его привязки в Священной истории с судьбой еврейского народа в период властвования Навуходоносора II (Исаия 14: 13-14), у Андреева оним «Вавилон» имеют и сугубо биографический аспект. Н. Н. Фатов свидетельствует, что ресторан с таким названием реально существовал в Орле [18, с. 252]. Поэтому логично предположить, что знакомая с детства реалья дала проекцию в сознании, а потом и в творческое мышление как художественный конструкт.

Литература

1. Андреев, Л. Н. Дневник. 1897–1901 гг. / Подг. Текста М. В. Козьменко и Л. В. Хачатурян (при участии Л. Д. Затуловской), сост., вступ. ст. и коммент. М. В. Козьменко. М. : ИМЛИ РАН, 2009. 296 с.
2. Андреев, Л. Н. Из глубины веков // Андреев, Л. Н. Полное собрание сочинений и писем: в 23 т. Т. 4 : Художественные произведения 1904–1905 гг. С. 246–264.
3. Андреев, Л. Н. Из глубины веков. Царь/ Публ. Л. А. Иезуитовой, вступ. ст. Л. Н. Афонина // Творчество Леонида Андреева: Исследования и материалы. Курск, 1983. С. 99–130.
4. Андреев, Л. Н. Неопубликованное письмо Леонида Андреева / Публ. И. Андреевой-Рыжковой и А. Богданова // Вопросы литературы. 1990. № 4. С. 275–277.
5. Андреев, Л. Н. Собрание сочинений : в 6 т. М. : Художественная литература, 1990–1996.
6. Антощук, Л. К. Юродская провокация в рассказе Л. Н. Андреева «Тьма» // Вестник Томского гос. пед. университета. Сер. Гуманитарные науки (Филология). 2004. Вып. 3 (40). С. 78–85.
7. Афонин, Л. Н. Леонид Андреев (из неопубликованного). Орёл : Изд. Александр Воробьёв, 2008. 103 с.
8. Дэвис, Р. Д., Козьменко, М. В. Неизвестное письмо Леонида Андреева к Максиму Горькому / Публик., подгот. текста, коммент. Р. Д. Дэвиса и М. В. Козьменко // «Сложная целостность» литературы. Исследования и публикации. К юбилею В. А. Келдыша / Отв. ред. В. В. Полонский. М. : ИМЛИ РАН, 2019. С. 392–403.
9. Икитян, Л. Н. Художественный эксперимент как творческая стратегия в прозе и драматургии Леонида Андреева: дис. ... канд. филол. наук: 10.01.01 / Икитян Людмила Нодариевна. Симферополь, 2011. 219 с.
10. Икитян, Л. Н. Экспериментальные сценарии неклассического поведения в творчестве А. С. Пушкина и Л. Н. Андреева // Культура народов Причерноморья. Симферополь : Межвузовский центр «Крым», 2010. Т. 2, № 183. С. 194–198.
11. Кен Л. Н., Рогов Л. Э. Жизнь Леонида Андреева, рассказанная им самим и его современниками / Людмила Кен, Леонид Рогов. – СПб. : «КОСТА», 2010. – 432 с.
12. Красильников, Р. Л. Проблема героического в творчестве Леонида Андреева // Вестник Череповецкого государственного университета. 2012. № 2. Т. 2. С. 103–106.

13. Литературное наследство. Горький и Л. Андреев. Неизданная переписка. – Т. 72. – М. : Наука, 1965. – 632 с.

14. Назаров, И. А. Своеобразие решения темы безумия в рассказе Л. Н. Андреева «Из глубины веков (Царь)»// Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2013. №. 8-1 (26). С. 116–118.

15. Назаров, И. А. Художественное воплощение феномена безумия в творчестве Л. Н. Андреева : дис. ... канд. филол. наук : 10.01.01 / Назаров Иван Александрович. М., 2013. 243 с.

16. Петрова Е. И. Проза Леонида Андреева: поэтика эксперимента и провокации: дис. ... канд. филол. наук: 10.01.01 / Петрова Екатерина Ивановна. М., 2010. 195 с.

17. Пильский, П. М. Леонид Андреев [Электронный ресурс] // Критические статьи. Т. 1. СПб.: Прогресс, 1910. С. 1–40. URL: <http://www.trediakovsky.ru/leonid-andreev-o>

18. Фатов, Н. Н. Молодые годы Леонида Андреева / Ред. и предисл. О. В. Володиной. Орёл: Издатель А. Воробьёв, 2010. 272 с. (переизд. Книги 1924 г.)

~